

Леонид Андреев
Красный смех
(Отрывки из найденной рукописи)

ЧАСТЬ I

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

...безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге, – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зёрнышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов, шёл с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжёлый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колёс, раздавливающих мелкий камень, чьё-то тяжёлое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запёкшимися губами. Но слов я не слышал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и когда ктонибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше, – как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжёлым бредом обезумевшей земли. Раскалённый воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались

– точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскалённых штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжёлый и лёгкий, чужой и страшный.

И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запылённый нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под неё подложен свёрнутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запылённый, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперёд, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шёл так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожжённых затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо – остановила меня. Так же торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, – что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У

них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на неё не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху. По тому, как равнодушно упёрся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мёртв, но спина его красна, точно у живого, и только лёгкий желтоватый налёт, как в копчёном мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идёт, шаги его нетвёрды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать своё разбрасывающееся тело. Он идёт так прямо на меня, что сквозь тяжёлую дрёму, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю: – Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородастый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведёт руки, и они тотчас распадутся.

– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я. Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены, – а у него расплылись они во весь глаз: какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные чёрные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих чёрных, бездонных зрачках, обведённых узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи! И как будто он ждал только слова – он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то, над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната. Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчётливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната. Я подошёл.

ОТРЫВОК ВТОРОЙ

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия, – остальные подбиты, – шесть человек прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток

сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, – и мы, живые, бродили – как лунатики. Мёртвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали своё дело, говорили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно, – но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашёл ответ в затемнённом мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие, или слушал грохот, – все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть её и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идёт все один бесконечный, безначальный день, то тёмный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвёртую ночь, я не помню, на одну минуту я прилёг за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запылённый графин на моем столике. А в соседней комнате – и я их не вижу – находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зелёным колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решётки и трубы, – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел чёрное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!» – но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дёргалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног – и больше ничего.

В это время было уже светло, и вдруг – капнул дождь. Дождь

– как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверке? стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал – плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало, – так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверке? и стучают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство моё, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины; с тою же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверке?; грохнуло орудие, за ним второе – и снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего жёлтого лица скатывалась вода, – вероятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдёт подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут

меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мёртвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и Руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дёргались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх – и больше ничего. – Вы боитесь? – повторил я ласково.

Губы его дёргались, .сяясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло тёплым ветром, сильно качнуло меня – и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась ещё какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашёл его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольётся по всей земле, этот красный смех! А они, отчётливо и спокойно как лунатики...

ОТРЫВОК ТРЕТИЙ

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне...

ОТРЫВОК ЧЕТВЁРТЫЙ

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мёртв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, – и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в её змеиных извилах, их осыпали непрерывным дождём пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно, и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дёргаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краёв превращалась в копошащуюся грудку окровавленных живых и мёртвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом – восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составилась целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень

весёлое, плясовое. Да, они пели – и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зелёный и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнём. – Красный смех, – сказал я. Но он не понял.

– Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь налетом и он упал, ещё некоторое время, до потери сознания, он подпрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспоминает об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием ещё раз испытать то же самое.

– И опять пулю в грудь? – спросил я. – Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, жёлтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мёртвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

– А матери послал телеграмму? – спросил я. Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненные. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все ещё сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

– Что же это такое, а? Что же это? – пугливо и настойчиво спрашивал он, дёргая мою руку.

– Что?

– Да вообще... все это. Ведь она ждёт меня? Не могу же я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество? – Красный смех, – ответил я.

– Ах! Ты все шутишь, а я серьёзно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у неё слова – седые. А ты... – Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: – А ты полысел. Ты заметил? – Тут нет зеркал.

– Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушёл из лазарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом – как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные весёлого ожидания, но скоро умолкали, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощённые, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только за самоваром, увидели друг друга – увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей, знакомые лица – и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикующие заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, – были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был жёлтый, холодный; над ним тяжело висели чёрные, ничем не освещённые, неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были

жёлты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мёртвый и непонятный.

– Где мы? – спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

– На войне, – ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

– Чего он хохочет? – возмутился кто-то. – Послушайте, перестаньте!

Тот ещё раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча насадала на землю, и мы с трудом различали жёлтые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил: – А где же «Ботик»?

«Ботик» – так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах. – Он сейчас был здесь. Ботик, где вы? – Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:

– Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

– Он только сейчас был здесь. Это ошибка. – Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона. – И мне! И мне! – Лимон весь.

– Что же это, господа, – с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. – А я только ради лимона и пришёл.

Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул ещё раз – и замолчал. Кто-то сказал: – Завтра наступление.

И несколько голосов раздражённо крикнули: – Оставьте! Какое там наступление! – Вы же сами знаете...

– Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

– Как-то теперь дома? – неопределённо спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все – до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена – и сразу замолчали, уступая непонятному.

– Дома? – закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить. – Дома? Какой дом, разве гденибудь есть дом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны – понимаете, ванны с водой – с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какаято паршь, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите – дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг, – вы говорите – дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошёл бы теперь на улицу – мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул: – Это черт знает что. Я пойду домой. – Домой?

– Вы не понимаете, что такое дом!.. – Домой? Слушайте: он хочет домой! Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих тёмных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих чёрных ущелий, где, быть может, ещё умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко

от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-весёлые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднимающуюся над миром.

А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своём мозгу, в своих ушах, эту огромную, молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других – одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпой, слишком громкие, слишком весёлые, слишком близкие к чёрным ущельям, где ещё умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

ОТРЫВОК пятый

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

– Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

– Пять суток... – пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно поталкивая меня в бока и ноги.

– Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там ещё остались раненые...

– Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

– Голубчик, не сердитесь, – бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. – Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказываются. Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет – он заснёт на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли, – так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд чёрных силуэтов – паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потёмках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет. – Что это? – спросил я, отступая.

– Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, – бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

– Черт вас знает! – закричал я громко. – Не могли вы взять другого... – Тише, пожалуйста, тише! – Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

– Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнётся. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошёл мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадёт.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лёг грудью на край вагона, чтобы взлезть – и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами – и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора: – На седьмой версте.

– А фонари забыли? – Нет, он не пойдёт. – Сюда давай. Осади немного. Так. Вагоны дёргались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лёг удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и когда я взял его руку, она была как у мёртвого: вялая и тяжёлая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая

и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажёл в фонаре свечу, осветил стены и чёрную дыру дверей и сказал сердито:

– Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоумело поводя глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали. – Хорошо бы сейчас водки хлебнуть, – сказал студент. Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошёл совсем. Большой и чёрный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел – где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце. – Это далеко. Вёрст за двадцать. – Мне холодно, – сказал доктор, лякнув зубами. Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц всходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчётливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет. – Много раненых? – спросил я. Он махнул рукой.

– Много сумасшедших. Больше, чем раненых. – Настоящих? – А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара. – Перестаньте, – сказал я, отворачиваясь. – Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо поражённое. – Мне холодно, – сказал он и улыбнулся. – Ну вас всех к черту! – закричал я, отходя в угол вагона. – Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылок с вьющимися волосами был молодой, и когда я глядел на него, мне почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

– Вам сколько лет? – спросил я, но он не обернулся и не ответил. Доктор покачивался. – Мне холодно.

– Когда я подумаю, – сказал студент, не оборачиваясь, – когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога. – Раненый?

– Нет, убитый. Голова оторвана. Только, как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то ещё задавишь.

Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в чёрной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

– Послушайте! – с тихим ужасом прошептал кто-то. Как мы не слышали раньше! Отовсюду – места нельзя было точно определить – приносился ровный, поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что это стонет сама земля или небо, озарённое невсходящим солнцем.

– Пятая верста, – сказал машинист. – Это оттуда, – показал доктор рукой вперёд. Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам: – Что же это? Ведь этого же нельзя слышать! – Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не чёрная, а смутно-красная от того тихого, неподвижного света, который молчаливо

стоял в разных концах чёрного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий, неслышанный стон, не имевший видимого источника, – как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу, – ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна – эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежания своего тёмные маслянистые пятна восавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много – слишком много для этой зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждою частицею своего существа.

– Что же это! – кричал доктор и грозил кому-то кулаком. – Вы – слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определённые, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своём призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза – так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочерёдно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безумная радость от того, что он видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне: – Ну что?

– И отвернулся. Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шёл сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошёл вдоль вагонов.

– Ты бы сел! – крикнул доктор, но он не ответил. Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти тёмные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжёлой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождём, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было размозжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув меня, он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

– Я тебе в морду дам! – крикнул он и, тряся доктора, длительно и едко прибавил циничное ругательство. – Я тебе в морду дам! Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлёбываясь, закричал:

– Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь работать! Негодяй! Животное! Их растащили, но долго ещё солдат выкрикивал: – Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошёл к стороне покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в чёрные перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошёл ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никак не мог вспомнить, где. Шагал он твёрдо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и

выше.

– А они спят, – сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспыллил, точно упрёк касался меня. – Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы.

– А они спят, – повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал: – Я вам скажу. Я вам скажу. – Что?

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил пальцем и повторял точно законченную мысль: – Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им. И, все так же строго глядя на меня и ещё раз погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую руку, я попробовал пальцем рану и пошёл к вагонам.

– Студент-то застрелился. Кажется, ещё жив, – сказал я доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал: – А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово, – он закричал сердито и угрожающе. – Я тоже! Да! И прошу вас – из вольты идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подошёл к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упёршись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

– Перестаньте, – сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него был молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови – должно быть, хватался руками. – Ну? – сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, стариковски сгорбившись, пошёл куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошёл за ним, и мы долго шли, все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому. – Стойте! – крикнул я, остановившись. Но он шёл, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков – это ушёл поезд. Я был один среди мёртвых и умирающих. Сколько их ещё осталось? Возле меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое, – или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле – тонкий, безнадёжный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался взад и вперёд, взад и вперёд...

ОТРЫВОК ШЕСТОЙ

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвёртый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они, видимо, узнали нас: они подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и ещё улыбались – под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и – я твёрдо помню это – мы все увидели, что это неприятель, и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнём. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации.

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят

домой, что я все-таки жив – жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, ещё не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши, – и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и – это удивительнее всего – чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают её, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие, вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненым в этом бою, отношение было вначале несколько странное, – нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, даёт мне право думать, что тут была ошибка.

Наш доктор, тот, что произвёл ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбающийся сквозь изжелта-седые, редкие усы, сказал мне, прищутив глаза:

– Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно. – Что такое?

– Да так. Неладно. В наше время было попроще. Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал её. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

– Да, неладно, – вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. – Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь жёлтые, закопчённые усы:

– Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо поражённое. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал: – Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал годового и подтвердил: – Да. Красный смех.

Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащённо, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые! Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу. – Так что же? – так же шёпотом и испуганно спросил я.

– Ничего. Как здоровые! – Красный смех, – сказал я. – Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.

– Вы с ума сошли, доктор!

– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше. Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, ещё храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжёлого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил её и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали. – А это вы понимаете? – таинственно спросил он. Потом так же торжественно и многозначительно обвёл рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и

повторил:

– А это вы можете объяснить? – Раненые, – сказал я. – Раненые. – Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймёте и это?..

С гибкостью, неожиданную для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова: – А это... вы также... понимаете?

– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил: – И никто этого не понимает. – Вчера опять стреляли.

– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утвердительно мотнул он головой.

– Я хочу домой! – с тоскою сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо. Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал: – Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять! – Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я видел: к нам пришёл сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали назад – в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперёд, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костёр от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком...

– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши. И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:

– ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся, как герои – всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только ещё схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Весёлой толпой, с музыкой и песнями, мы войдём в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, жёлтые, измождённые лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала чёрная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:

– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Весёлая, беспечная ватага храбрецов

– мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; весёлые ребята, полные огненного смеха, – мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто ещё не сошёл с ума; и когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, – какой весёлый смех огласит вселенную!

– Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!

– Друзья! – продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням. – Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная весёлая шерсть, и мы сдерём кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного тёплая, но она красная, и у неё такой весёлый красный смех!..

ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ

...это было безбожно, это было незаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идёт поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

ОТРЫВОК восьмой

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза – даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шёл пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам ещё на свадьбе. Сестра жены подарила – она очень славная и добрая женщина.

– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

– Одну разбили, – сказала жена рассеяно: она в это время держала отвёрнутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода. Я засмеялся. – Чего ты? – спросил брат.

– Так. Ну, отвезите-ка меня ещё разок в кабинетик. Потрудитесь для героя! Побездельничали без меня, теперь баста, я вас подтяну, – и я в шутку, конечно, запел: «Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...»

Они поняли шутку и тоже улынулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зелёным колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылён. – Налейте-ка мне водицы отсюда, – весело приказал я. – Ты же сейчас пил чай.

– Ничего, ничего, налейте. А ты, – сказал я жене, – возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

– Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно не ложится спать?

– Он рад, что ты вернулся. Милый, походи к отцу. Но ребёнок заплакал и спрятался у матери в ногах. – Отчего он плачет? – с недоумением спросил я и оглянулся кругом. – Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною, как тени? Брат громко засмеялся и сказал: – Мы не молчим. И сестра повторила: – Мы все время разговариваем.

– Я похлопочу об ужине, – сказала мать и торопливо вышла.

– Да, вы молчите, – с неожиданной уверенностью повторил я. – С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменялся? Да, так переменялся. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

– Сейчас я принесу, – ответила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него, и – я уже видел себя в вагоне, на вокзале – это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. А они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок, – так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

– Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно: – Да. Ты мало изменился. Польсел немного.

– Поблагодари и за то, что голова осталась, – равнодушно ответил Я. – Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня ещё по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем ещё новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колёса присох кусочек грязи – от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

– В нашем полку только четыре офицера осталось в живых, – угрюмо сказал я. – Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

– Хорошо, я возьму, – покорно согласился брат. – Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги – это, право...

– Конечно. Я не почтальон. Брат внезапно остановился и спросил: – А отчего у тебя трясётся голова? – Пустяки. Это пройдёт, доктор сказал! – И руки тоже?

– Да, да. И руки. Все пройдёт. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали готовить постель – настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло, – а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы от смеха.

– А теперь раздень-ка меня и положи, – сказал я жене. – Как хорошо! – Сейчас, милый. – Поскорее! – Сейчас, милый. – Да что же ты? – Сейчас, милый. Она стояла за моею спиною, у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть её. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

– Что же это! – И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.

– Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это? Кому это нужно было? Ты, мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал: – Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду! А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колёса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завёрнутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад – перед свадьбой...

ОТРЫВОК ДЕВЯТЫЙ

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

– Сам посуди: ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике – давать сознание. Главное – сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий – как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познавши истину, отказаться от неё? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочёл, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив

и отвечаю только на самые сильные возбуждения, – но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны, – что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами. – Красный смех, – весело сказал я, плескаясь. – И я скажу тебе правду. – Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул её. – Я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел, – объясни мне. – Убирайся к черту! – шутливо ответил я, плескаясь. – Вот и ты тоже, – печально сказал брат. – Никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь, а потом покрепче, и удушю, – что это будет? – Ты говоришь вздор. Никто этого не делает. Брат потёр холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал: – Когда ты был ещё там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

– Надеюсь, – улыбнулся я, плескаясь. – Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый?

– Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка ещё горяченькой водицы. Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал: – Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберётся много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого, и начнётся убийство. И ты знаешь, – таинственно наклонился он к моему уху, – газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов, – у человечества один разум, и он начинает мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лёд. Я должен сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума... Уже четверть часа, – тебе пора выходить из ванны. – Немножечко ещё. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеётся и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

– Го-го-го! – захохотал я, плескаясь. – Что с тобой? – испугался брат и побледнел. – Так. Весело, что я дома.

Он улыбнулся мне, как ребёнку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие, тяжёлые и старые мысли.

– Куда уйти? – сказал он, пожав плечами. – Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я – как щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня с силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над чёрной пропастью безумия. И я упаду в неё, я должен в неё упасть. Ты ещё не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают, – ты ещё не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счёл немного мрачной шуткой, – это было участием всех тех, кто в

безумии своём становится близок безумию войны и предостерегал нас. Я счёл это шуткой – как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

– Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала груда этих милых, прекрасных книг в жёлтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать её, любясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся чёрточках.

– А теперь надо работать, – серьёзно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок, – и, как лягушка, привязанная на нитке, зашлёпала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дёргалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевелился – я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещённой бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном, живом, безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были ещё там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевелинуться, я следил за их дикой пляской по чистому, яркobelому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком, – один, лишённый возможности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

– Это ничего, – громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего. – Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращённый рай». Я могу мыслить – это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Мильтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и, когда я подходил к концу фразы, я уже забывал её начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, бессмысленную фразу о каком-то Мильтоне – и не мог.

– «Возвращённый рай», «Возвращённый рай», – твердил я и не понимал, что это значит.

...И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения. Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами – длинными часами потери сознания или бесчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, но забыл, как её зовут, – это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал: – Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они боялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было – настоящий кабинет учёного, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они заботятся обо мне!» – подумал я, умилённый.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное – цветы и песни. Цветы и песни...

ЧАСТЬ II

ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своём безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за Другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель, благодаря сильному приёму наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию окна весь день были завешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица – лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал, до восковой прозрачности трупа или подвижника, и совершенно поседел; и начал он свою безумную работу ещё сравнительно молодым, а кончил её – стариком. Иногда он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении, с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

– Конечно, я не рассчитываю на признание современников, – гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на грудь пустых листков, – но будущее, но будущее поймёт мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь, кроме неё. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряжённости и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неутомимо плёл бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да ещё мать решались подходить к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пера, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая ещё в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомлённого, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко воцелились в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила ещё одну петлю и крепко затянула её. Вся наша семья уехала в деревню, к

родственникам, и я один во всем доме – в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время я один, и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна, – мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не даёт мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного оцепелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почётной, как гибель часового на своём посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Моё сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль

– ещё живая, ещё борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя, – мне жаль её, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть: – Сейчас прекратите войну, или... Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь даёт? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно – и разве это хоть что-нибудь даёт?

И когда я так чувствую своё бессилие, мною овладевает бешенство – бешенство войны, которую я ненавижу. Мне хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их жёнами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мёртвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с жёнами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, чёрный...

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы скорее...

ОТРЫВОК ОДИННАДЦАТЫЙ

...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рывкнула – рывкнула, как один огромный злобный пёс, у которого цепь коротка и непрочна. Рывкнула и замолчала, тяжело дыша, – а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинною палкой. Но один шёл несколько в стороне, спокойный, серьёзный, без улыбки, и когда я встретился с его чёрными глазами, я прочёл в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждёт от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться, – он ждёт от меня всего.

Я побежал вместе с толпою, чтобы ещё раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошёл последним, пропуская мимо себя товарищей, и ещё раз взглянул на меня. И тут я увидел в его чёрных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

– Кто этот, с глазами? – спросил я у конвойного. – Офицер. Сумасшедший. Их много таких. – Как его зовут?

– Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, приبلудный какойто. Его уж раз вынули из петли, да что!.. – Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я Думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает

способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждёт, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, лёгкой.

А быть может, он действительно сумасшедший? Солдат сказал: их много таких...

ОТРЫВОК ДВЕНАДЦАТЫЙ

...начинается... Когда вчера ночью я вошёл в кабинет брата, он сидел в своём кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажёл свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале, – пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть, – но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на своё место. И ушёл я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всех комнатах зажигать огонь, – да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете, – так все-таки остаётся сомнение.

Сегодня я вошёл со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале – теперь я каждое утро хожу туда – и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, жёлтое как лимон, с открытым чёрным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно, – и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех тёмных дверях, я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли. Зараза растёт. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то чёрные, наглухо закрытые кареты – в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам найдёт виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно, по этому поводу:

– Их нужно вешать без суда, – сказал один, испытующе оглядев всех и меня. – Изменников нужно вешать, да.

– Без жалости, – подтвердил другой. – Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны, и они сами плачут, – что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идёт оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и её ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днём я ещё могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои

ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать, – красная кровь просится наружу и течёт так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своём особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалывшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под конвоем дисциплинированных солдат, они походили на рабов древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинувшись штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шёл юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиною шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперёд, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такою пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шёл приземистый, бородатый, уж пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не пускала, – и он шёл, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперёд, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли так, – чувствовалась усталость и равнодушие в том, как они несли ружья, как они шагали враздобрь, помужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

– Куда вы их ведёте? – спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей.

– Отойди! – сказал солдат. – Отойди, а не то... Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал – лёгкой трусцою он отбежал к решётке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошёл вплотную, нагнулся и, перебросив ружьё в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И ещё. Собирался народ. Послышался смех, крики...

ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещённые красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключённых в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь своё, но оттого, что их было много, в молчании своём они были слышнее громких голосов актёров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчёсанных затылков, твёрдо опирающихся на белые, крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразиться каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны и как я далёк от выхода. Они спокойны, а если крикнуть – «пожар!»... И с ужасом я ощутил жуткое, страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть, – привстать, обернуться назад и крикнуть:

– Пожар! Спасайтесь, пожар! Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоюют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и

матери, они начнут метаться, точно поражённые внезапной слепотой, и в безумии своём будут души́ть друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и диковесело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка, – а они не будут слышать ничего, – они будут души́ть, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысловатым причёскам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все ещё доверяя их благородству, – а они будут злобно бить их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство – спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой, – я выйду на сцену и скажу им со смехом:

– Это все потому, что вы убили моего брата. Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

– Тише! Вы мешаєте слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

– Что такое? – спросил он недоверчиво. – Зачем так смотрите?

– Тише, умоляю вас, – прошептал я одними губами. – Вы слышите, как пахнет гарью. В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня, и пошёл к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушёл из театра, да и не хотелось мне слишком рано открыть своё инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война, – там все было спокойно, и ночные, жёлтые от огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны нет?» – подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича: – Громовое сражение. Огромные потери. Купите телеграмму – ночную телеграмму!

У фонаря я прочёл её. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходиться в мой опустелый дом. Когда я ещё только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его тёмные пустые комнаты, по которым пойдёт сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу, и он заперт на ключ – со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух как будто хранит ещё следы разговоров, и смеха, и весёлого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера; и когда ложусь в постель...

ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную крышку, и, беззащитный, обнажённый, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю; я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнажённого мозга.

Эти дети, эти маленькие, ещё невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом – и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушёл домой, и ночь настала, – и в огненных грёзах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие ещё невинные дети превратились в полчище детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнём, и в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачную кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь – и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне. – Я хочу к тебе, – сказал он. – Ты убьёшь меня.

– Я хочу к тебе, – сказал он и побледнел внезапно и страшно, и начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверью», – с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в тёмную щель под дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по тёмным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошёл; и долго я ничего не слышал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех сторон; и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбиравшихся к горлу.

– Я не могу! – простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

– Успокойся! – сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжёл, мёртвый. – Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты крепко спишь в тёмных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

– Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь её?

– Да, вижу. Она смеётся.

– Посмотри, что делается у неё с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался. – Она кричит.

– Ей больно. У неё нет ни цветов, ни песен. Теперь давай я лягу на тебя. – Мне тяжело, мне страшно. – Мы мёртвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

– Тепло. – Хорошо тебе? – Я умираю. – Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступила пятница и прошла, – а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды; и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их чёрные тучи и грозу, – а они стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило снарядов, и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шёпотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, поражённые внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и наступает тишина, а на земле валяются новые изуродованные трупы, – кто их убил? Ты знаешь, брат: кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, тёмною ночью, раздаётся одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди ещё не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших – ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

– Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! – говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь, как прежде, и что это мировое насилие над разумом не коснётся их слабого умишка.

– Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба – закон жизни, – говорят они уверенно и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо: – Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колыхнется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но ещё больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и иступлённых криков отчаяния, когда сам великий разум в напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее своё проклятие: – Когда же кончится эта безумная бойня! У одних знакомых, где я не был давно, быть может, несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращённого с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; но его не узнала и мать, которая его родила: если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем белый; черты лица его мало изменились, – но он молчит и слушает что-то – и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдалённости, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошёл с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошёл в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти заглушали выстрелы, – и вдруг прекратились выстрелы, – и вдруг

прекратилось «ура», – и вдруг наступила могильная тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждёт; но стоит наступить минутной тишине – он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьётся в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные ночи, – и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто – не в военное платье, – занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым ещё лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных, усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали все, я подошёл и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара, – и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был её жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих тёмных и пустых комнатах, в которых я хуже чем один, – подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоём.

– Какой вы бледный, и под глазами круги, – сказала она ласково. – Вы больны? Вам жалко своего брата? – Мне жалко всех. И я нездоров немного. – Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да? – За то, что он сумасшедший, да. Она задумалась и стала похожа на брата – только очень молоденькая.

– А мне, – она остановилась и покраснела, но не опустила глаз, – а мне позвольте поцеловать вашу руку? Я стал перед ней на колени и сказал: – Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала: – Я не верю. – И я также.

На секунду её руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

– Ты знаешь, – сказала она, – я еду туда. – Поезжай. Но ты не выдержишь.

– Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня? . – Да. А ты? – Я буду помнить. Прощай! – Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха вошёл в свой дом и открыл кабинет брата и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услышал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой:

«Работай, брат, работай! Твоё перо не сухо – оно обмокнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми, – своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!»

...А сегодня утром я прочёл, что сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идёт, оно близко – оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

ОТРЫВОК СЕМНАДЦАТЫЙ

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

ОТРЫВОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на

конверте я узнал почерк убитого: мёртвый писал к мёртвому. Но это все же лучше того случая, когда мёртвый пишет к живому; мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти, – он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мёртв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть, – и когда прошёл без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива, – не знаю, не слышал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро – а оно плыло; он был убит – а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землёй – а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призраком в сером штемпелёванном конверте. И теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

«...Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей – умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звёздами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принуждён скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашёл бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага – вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали...»

«Вороньё кричит. Ты слышишь: вороньё кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду, – и всегда мы под ними, как под чёрным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с чёрными листьями. Один подошёл к самому лицу моему и хотел клюнуть – он думал, должно быть, что я мёртвый. Вороньё кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?»

«...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик – и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают.»

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародёрством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на ..., чем на офицера победоносной армии.»

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал, плакал... Как не

стыдно офицеру плакать!»

«Вороньё кричит. Ты слышишь, друг: вороньё кричит. Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стёрлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щёк, ясность и утренняя свежесть глаз, борода такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украсить и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи, – брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти. ...Вороньё кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошённые смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда. ...Вороньё кричит...

Нет, это правда. Несчастливая земля, ведь это правда. Вороньё кричит. Это не выдумка праздного писака, ищущего дешёвых эффектов, безумца, потерявшего разум. Вороньё кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, вороньё, сидящее на падали, несчастные слабоумные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощёчину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою – приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаённое безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всю силу моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклиная вас, несчастные слабоумные звери!

ОТРЫВОК ПОСЛЕДНИЙ

...от вас мы ждём обновления жизни! Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: «Долой войну!»

– ...Вы молодые, вы, жизнь которых ещё впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливают глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

– ...Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разружьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите её. Нет сил выносить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось ещё раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завывало; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперёд и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защёлкало по брёвнам; мгновенное затишье – и снова рёв, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжёлое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топчущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезл какие-то заборы, обломав себе все ногти, взбирался на штабеля дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе с водопадом стучающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу выбрался, – а

сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рёв и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода: его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырým деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад: я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налёту, лёгшему на чёрные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из чёрных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди чёрных, точно вымерших домов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам нёсся ещё далёкий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении: это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я ещё увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановились в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только тёмный насторожившийся силуэт.

– Ты откуда? – спросил он. – Оттуда. – А куда ты бежишь? – Домой. – А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали мне горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мною по пустынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал, – должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мёртвые, и я пробежал бы её, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мёртвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилу я нашёл его, хотя он был тут же, в наружном кармане. И когда я щёлкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мёртвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и, после некоторого размышления, хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня. «Буду так ждать смерти. Ведь все равно», – решил я. В умывальнике была ещё вода, очень тёплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажёл спичку – и при её неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно, – подумал я. – Никому это не нужно».

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходящую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось, совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдалённый гул голосов, крики, треск чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку: – Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблёскивающий обрывок цепи. Отдалённый крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

«Идут сюда!» – подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы, но все это не годилось. Я обошёл все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своём кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чьё-то дыхание оледенило мой затылок.

– Кто тут? – шёпотом спросил я, но никто не ответил. А когда я снова пошёл, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал

подумал я. – Он все-таки свой». Он сидел в своём кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: чёрный, чугунный профиль, очерченный узкой красною полосой.

– Брат! – сказал я.

Но он молчал, неподвижный и чёрный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица – и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо, как бывает только там, где много мёртвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрёл неуловимый оттенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идёт такая тишина, и сказал ему об этом.

– Нет, это не от меня, – ответил он. – Посмотри в окно.

Я отдёрнул драпри и отшатнулся. – Так вот что! – сказал я.

– Позови мою жену: она этого ещё не видала, – приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила, и, увидев моё лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитьё и пошла за мной. Я отдёрнул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырёхугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звёзд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо, – очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых. – Их становится больше, – сказал брат. Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только по голосу. – Это кажется, – сказала сестра. – Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежавших рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мёртвым светом.

– Смотрите, им не хватает места, – сказал брат. Мать ответила: – Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мёртвых тел заполнили все комнаты.

– Они и в детской, – сказала няня. – Я видела. – Нужно уйти, – сказала сестра.

– Да ведь нет прохода, – отозвался брат. – Смотрите. Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевелинулись и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху. – Они нас задушат! – сказал я. – Спасемтесь в окно. – Туда нельзя! – крикнул брат. – Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

8 ноября 1904 г.